
Гранатовый
браслет
Александр Куприн

Александр Иванович Куприн

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ

L. van Beethoven. 2 Son. (op. 2, № 2).
Largo Appassionato

I

В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землею и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны степи свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по ночам железные кровли дач, казалось, будто кто-то бегает по ним в подкованных сапогах, вздрагивали оконные рамы, хлопали двери, и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись: только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега.

Обитатели пригородного морского курорта — большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, — поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дроги, перегруженные всяческими домашними вещами: тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко, и грустно, и противно было глядеть сквозь мутную кисею дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским; на горничных и кухарок, сидевших на верху воза на мокром брезенте с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся дрогалей, закутанных от дождя в рогожи. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и

оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным сором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков.

Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем нежданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья.

Княгиня Вера Николаевна Шеина, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, ставившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря.

II

Кроме того, сегодня был день ее именин — 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок еще больше веселил ее.

Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привезти немногих и только самых близких знакомых. Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, пожалуй, даже на бал, а здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Князь Шеин, несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть, и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств: делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и т. д. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом, незаметно для него, отказывала себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяйстве.

Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой — наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручьях, пахнувших капустой, розовые кусты еще давали — в третий раз за это лето — бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотою георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни.

Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры — Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству.

Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул

дверцу.

Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собою. Старшая, Вера, пошла в мать, красавицу англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая — Анна, — наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале XIX столетия и древний род которого восходил до самого Тамерлана, или Ланг-Темира, как с гордостью называл ее отец, по-татарски, этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная, насмешница. Лицо ее сильно монгольского типа с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе, — лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры.

Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком, который ровно ничего не делал, но числился при каком-то благотворительном учреждении и имел звание камер-юнкера. Мужа она терпеть не могла, но родила от него двух детей — мальчика и девочку; больше она решила не иметь детей и не имела. Что касается Веры — та жадно хотела детей и даже, ей казалось, чем больше, тем лучше, но почему-то они у нее не рождались, и она болезненно и пылко обожала хорошеньких малокровных детей младшей сестры, всегда приличных и послушных, с бледными мучнистыми лицами и с завитыми льняными кукольными волосами.

Анна вся состояла из веселой безалаберности и милых, иногда странных противоречий. Она охотно предавалась самому рискованному флирту во всех столицах и на всех курортах Европы, но никогда не изменяла мужу, которого, однако, презрительно высмеивала и в глаза и за глаза; была расточительна, страшно любила азартные игры, танцы, сильные впечатления, острые зрелища, посещала за границей сомнительные кафе, но в то же время отличалась щедрой добротой и глубокой, искренней набожностью, которая заставила ее даже принять тайно католичество. У нее были редкой красоты спина, грудь и плечи. Отправляясь на большие балы, она обнажалась гораздо больше пределов, дозволяемых приличием и

модой, но говорили, что под низким декольте у нее всегда была надета власяница.

Вера же была строго проста, со всеми холодно и немного свысока любезна, независима и царственно спокойна.

III

— Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! — говорила Анна, идя быстрыми и мелкими шагами рядом с сестрой по дорожке. — Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом. Я так давно не видела моря. И какой чудный воздух: дышишь — и сердце веселится. В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе — резедой.

Вера ласково усмехнулась:

— Ты фантазерка.

— Нет, нет. Я помню также раз, надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок. А на днях художник Борицкий — вот тот, что пишет мой портрет, — согласился, что я была права и что художники об этом давно знают.

— Художник — твое новое увлечение?

— Ты всегда придумаешь! — засмеялась Анна и, быстро подойдя к самому краю обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко в море, заглянула вниз и вдруг вскрикнула в ужасе и отшатнулась назад с побледневшим лицом.

— У, как высоко! — произнесла она ослабевшим и вздрагивающим голосом. — Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди... и пальцы на ногах щемит... И все-таки тянет, тянет...

Она хотела еще раз нагнуться над обрывом, но сестра остановила ее.

— Анна, дорогая моя, ради бога! У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь.

— Ну хорошо, хорошо, села... Но, ты только посмотри, какая красота, какая радость — просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна богу за все чудеса, которые он для нас сделал!

Обе на минутку задумались. Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега, и оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Вода была ласково-спокойна и весело-синя, светлея лишь косыми гладкими полосами в местах течения и переходя в густо-синий глубокий цвет на горизонте.

Рыбачьи лодки, с трудом отмечаемые глазом — такими они казались маленькими, — неподвижно дремали в морской глади, недалеко от берега. А дальше точно стояло в воздухе, не подвигаясь вперед, трехмачтовое судно, все сверху донизу одетое однообразными, выпуклыми от ветра, белыми стройными парусами.

— Я тебя понимаю, — задумчиво сказала старшая сестра, — но у меня как-то не так, как у тебя. Когда я в первый раз вижу море после большого времени, оно меня и волнует, и радует, и поражает. Как будто я в первый раз вижу огромное, торжественное чудо. Но потом, когда привыкну к нему, оно начинает меня давить своей плоской пустотой… Я скучаю, глядя на него, и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает.

Анна улыбнулась.

— Чему ты? — спросила сестра.

— Прошлым летом, — сказала Анна лукаво, — мы из Ялты поехали большой кавалькадой верхом на Уч-Кош. Это там, за лесничеством, выше водопада. Попали сначала в облако, было очень сыро и плохо видно, а мы все поднимались вверх по крутой тропинке между соснами. И вдруг как-то сразу окончился лес, и мы вышли из тумана. Вообрази себе; узенькая площадка на скале, и под ногами у нас пропасть. Деревни внизу кажутся не больше спичечной коробки, леса и сады — как мелкая травка. Вся местность спускается к морю, точно географическая карта. А там дальше — море! Верст на пятьдесят, на сто вперед. Мне казалось — я повисла в воздухе и вот-вот полечу. Такая красота, такая легкость! Я оборачиваюсь назад и говорю проводнику в восторге: «Что? Хорошо, Сеид-оглы?» А он только языком почмокал: «Эх, барина, как мине все это надоел. Каждый день видим».

— Благодарю за сравнение, — засмеялась Вера, — нет, я только думаю, что нам, северянам, никогда не понять прелести моря. Я люблю лес. Помнишь лес у нас в Егоровском?.. Разве может он когда-нибудь прискучить? Сосны!.. А какие мхи!.. А мухоморы! Точно из красного атласа и вышиты белым бисером. Тишина такая… прохлада.

— Мне все равно, я все люблю, — ответила Анна. — А больше всего я люблю мою сестренку, мою благоразумную Вереньку. Нас ведь только двое на свете.

Она обняла старшую сестру и прижалась к ней, щека к щеке. И вдруг спохватилась.

— Нет, какая же я глупая! Мы с тобою, точно в романе, сидим и разговариваем о природе, а я совсем забыла про мой подарок. Вот посмотри. Я боюсь только, понравится ли?

Она достала из своего ручного мешочка маленькую записную книжку в удивительном переплете: на старом, стершемся и посеревшем от времени синем бархате вился тускло-золотой филигранный узор редкой сложности, тонкости и красоты, — очевидно, любовное дело рук искусного и терпеливого художника. Книжка была прикреплена к тоненькой, как нитка, золотой цепочке, листки в середине были заменены таблетками из слоновой кости.

— Какая прекрасная вещь! Прелесть! — сказала Вера и поцеловала

сестру. — Благодарю тебя. Где ты достала такое сокровище?

— В одной антикварной лавочке. Ты ведь знаешь мою слабость рыться в старинном хламе. Вот я и набрела на этот молитвенник. Посмотри, видишь, как здесь орнамент делает фигуру креста. Правда, я нашла только один переплет, остальное все пришлось придумывать — листочки, застежки, карандаш. Но Моллине совсем не хотел меня понять, как я ему ни толковала. Застежки должны были быть в таком же стиле, как и весь узор, матовые, старого золота, тонкой резьбы, а он бог знает что сделал. Зато цепочка настоящая венецианская, очень древняя.

Вера ласково погладила прекрасный переплет.

— Какая глубокая старина!.. Сколько может быть этой книжке? — спросила она.

— Я боюсь определить точно. Приблизительно конец семнадцатого века, середина восемнадцатого…

— Как странно, — сказала Вера с задумчивой улыбкой. — Вот я держу в своих руках вещь, которой, может быть, касались руки маркизы Помпадур или самой королевы Антуанетты… Но знаешь, Анна, это только тебе могла прийти в голову шальная мысль переделать молитвенник в дамский carnet[1]. Однако все-таки пойдем посмотрим, что там у нас делается.

Они пошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда «изабелла». Черные обильные гроздья, издававшие слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. По всей террасе разливался зеленый полусвет, от которого лица женщин сразу побледнели.

— Ты велишь здесь накрывать? — спросила Анна.

— Да, я сама так думала сначала… Но, теперь вечера такие холодные. Уж лучше в столовой. А мужчины пусть сюда уходят курить.

— Будет кто-нибудь интересный?

— Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.

— Ах, дедушка милый. Вот радость! — воскликнула Анна и всплеснула руками. — Я его, кажется, сто лет не видала.

— Будет сестра Васи и, кажется, профессор Спешников. Я вчера, Анненька, просто голову потеряла. Ты знаешь, что они оба любят покушать — и дедушка и профессор. Но ни здесь, ни в городе — ничего не достанешь ни за какие деньги. Лука отыскал где-то перепелов — заказал знакомому охотнику — и что-то мудрит над ними. Ростбиф достали сравнительно недурной, — увы! — неизбежный ростбиф. Очень хорошие раки.

— Ну что ж, не так уж дурно. Ты не тревожься. Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть.

— Но будет и кое-что редкое. Сегодня утром рыбак принес

морского детуха. Я сама видела. Прямо какое-то чудовище. Даже страшно.

Анна, до жадности любопытная ко всему, что ее касалось и что не касалось, сейчас же потребовала, чтобы ей принесли показать морского петуха.

Пришел высокий, бритый, желтолицый повар Лука с большой продолговатой белой лоханью, которую он с трудом, осторожно держал за ушки, боясь расплескать воду на паркет.

— Двенадцать с половиною фунтов, ваше сиятельство, — сказал он с особенной поварской гордостью. — Мы давеча взвешивали.

Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне, завернув хвост. Ее чешуя отливала золотом, плавники были ярко-красного цвета, а от громадной хищной морды шли в стороны два нежно-голубых складчатых, как веер, длинных крыла. Морской петух был еще жив и усиленно работал жабрами.

Младшая сестра осторожно дотронулась мизинцем до головы рыбы. Но петух неожиданно всплеснул хвостом, и Анна с визгом отдернула руку.

— Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, все в лучшем виде устроим, — сказал повар, очевидно понимавший тревогу Анны. — Сейчас болгарин принес две дыни. Ананасные. На манер вроде как канталупы, но только запах куда ароматнее. И еще осмелюсь спросить ваше сиятельство, какой соус прикажете подавать к петуху: тартар или польский, а то можно просто сухари в масле?

— Делай, как знаешь. Ступай! — сказала княгиня.

IV

После пяти часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович привез с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по мужу Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину; светского молодого богатого шалопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, очень приятного в обществе уменьем петь и декламировать, а также устраивать живые картины, спектакли и благотворительные базары; знаменитую пианистку Женни Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на автомобиле муж Анны с бритым толстым, безобразно огромным профессором Спешниковым и с местным вице-губернатором фон Зекком. Позднее других приехал генерал Аносов, в хорошем наемном ландо, в сопровождении двух офицеров: штабного полковника Понамарева, преждевременно состарившегося, худого, желчного человека, изможденного непосильной канцелярской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, который славился в Петербурге как лучший танцор и несравненный распорядитель балов.

Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держась одной рукой за поручни козел, а другой — за задок экипажа. В левой руке он держал слуховой рожок, а в правой — палку с резиновым наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть презрительным выражением в прищуренных глазах, расположенных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно мужественным и простым людям, видавшим часто и близко перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полушутя, полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки.

— Точно... архиерея! — сказал генерал ласковым хрипловатым басом.

— Дедушка, миленький, дорогой! — говорила Вера тоном легкого упрека. — Каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.

— Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял, — засмеялась Анна. — Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя донжуаном, бесстыдник, и совсем забыли о нашем существовании...

Генерал, обнажив свою величественную голову, целовал поочередно руки у обеих сестер, потом целовал их в щеки и опять в руку.

— Девочки... подождите... не бранитесь, — говорил он, перемежая каждое слово вздохами, происходившими от давнишней одышки. — Честное слово... докторишки разнесчастные... все лето купали мои ревматизмы... в каком-то грязном... киселе, ужасно пахнет... И не выпускали... Вы первые... к кому приехал... Ужасно рад... с вами увидеться... Как прыгаете?.. Ты, Верочка... совсем леди... очень стала похожа... на покойницу мать... Когда крестить позовешь?

— Ой, боюсь, дедушка, что никогда...

— Не отчаивайся... все впереди... Молись богу... А ты, Аня, вовсе не изменилась... Ты и в шестьдесят лет... будешь такая же стрекоза-егоза. Постойте-ка. Давайте я вам представлю господ офицеров.

— Я уже давно имел эту честь! — сказал полковник Понамарев, кланяясь.

— Я был представлен княгине в Петербурге, — подхватил гусар.

— Ну, так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян, но хороший кавалерист. Вынь-ка, Бахтинский, милый мой, там из коляски... Пойдемте, девочки... Чем, Верочка, будешь кормить? У меня... после лиманного режима... аппетит, как у выпускного... прапорщика.

Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза-Булат-Тугановского. Всю нежную дружбу и любовь он после смерти князя перенес на его дочерей. Он знал их еще совсем маленькими, а младшую Анну даже крестил. В то время — как и до сих пор — он был комендантом большой, но почти упраздненной крепости в г. К. и ежедневно бывал в доме Тугановских. Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр и за то, что никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов. Но больше всего их очаровывали и крепче всего запечатлелись в их памяти его рассказы о военных походах, сражениях и стоянках на бивуаках, о победах и отступлениях, о смерти, ранах и лютых морозах, — неторопливые, эпически спокойные, простосердечные рассказы, рассказываемые между вечерним чаем и тем скучным часом, когда детей позовут спать.

По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные и глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах, те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и великомучеником, почти святым, — черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной и деловой отваги, покорства перед лицом смерти, жалости к побежденному, бесконечного терпения и поразительной физической и нравственной

выносливости.

Аносов, начиная с польской войны, участвовал во всех кампаниях, кроме японской. Он и на эту войну пошел бы без колебаний, но его не позвали, а у него всегда было великое по скромности правило: «Не лезь на смерть, пока тебя не позовут». За всю свою службу он не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю, — сказал он, — но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказал он это так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными, твердыми глазами, что его, вместо того чтобы самого расстрелять, оставили в покое.

В войну 1877 — 1879 годов он очень быстро дослужился до чина полковника, несмотря на то что был мало образован или, как он сам выражался, кончил только «медвежью академию». Он участвовал при переправе через Дунай, переходил Балканы, отсиживался на Шипке, был при последней атаке Плевны; ранили его один раз тяжело, четыре — легко, и, кроме того, он получил осколком гранаты жестокую контузию в голову. Радецкий и Скобелев знали его лично и относились к нему с исключительным уважением. Именно про него и сказал как-то Скобелев: «Я знаю одного офицера, который гораздо храбрее меня, — это майор Аносов».

С войны он вернулся почти оглохший благодаря осколку гранаты, с больной ногой, на которой были ампутированы три отмороженных, во время балканского перехода, пальца, с жесточайшим ревматизмом, нажитым на Шипке. Его хотели, было, по истечении двух лет мирной службы упечь в отставку, но Аносов заупрямился. Тут ему очень кстати помог своим влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе через Дунай. В Петербурге решили не огорчать заслуженного полковника, и ему дали пожизненное место коменданта в г. К. — должность более почетную, чем нужную в целях государственной обороны.

В городе его все знали, от мала до велика, и добродушно посмеивались над его слабостями, привычками и манерой одеваться. Он всегда ходил без оружия, в старомодном сюртуке, в фуражке с большими полями и с громадным прямым козырьком, с палкою в правой руке, со слуховым рожком в левой и непременно в сопровождении двух ожиревших, ленивых, хриплых мопсов, у которых всегда кончик языка был высунут наружу и прикушен. Если ему во время обычной утренней прогулки приходилось встречаться со знакомыми, то прохожие за несколько кварталов слышали, как кричит комендант, и как дружно вслед за ним лают его мопсы.

Как многие глухие, он был страстным любителем оперы, и иногда,

во время какого-нибудь томного дуэта, вдруг на весь театр раздавался его решительный бас: «А ведь чисто взял до, черт возьми! Точно орех разгрыз». По театру проносился сдержанный смех, но генерал даже и не подозревал этого: по своей наивности он думал, что шепотом обменялся со своим соседом свежим впечатлением.

По обязанности коменданта он довольно часто, вместе со своими хрипящими мопсами, посещал главную гауптвахту, где весьма уютно за винтом, чаем и анекдотами отдыхали от тягот военной службы арестованные офицеры. Он внимательно расспрашивал каждого: «Как фамилия? Кем посажен? На сколько? За что?» Иногда совершенно неожиданно хвалил офицера за бравый, хотя и противозаконный поступок, иногда начинал распекать, крича так, что его бывало слышно на улице. Но, накричавшись досыта, он без всяких переходов и пауз осведомлялся, откуда офицеру носят обед и сколько он за него платит. Случалось, что какой-нибудь заблудший подпоручик, присланный для долговременной отсидки из такого захолустья, где даже не имелось собственной гауптвахты, признавался, что он, по безденежью, довольствуется из солдатского котла. Аносов немедленно распоряжался, чтобы бедняге носили обед из комендантского дома, от которого до гауптвахты было не более двухсот шагов.

В г. К. он и сблизился с семьей Тугановских и такими тесными узами привязался к детям, что для него стало душевной потребностью видеть их каждый вечер. Если случалось, что барышни выезжали куда-нибудь или служба задерживала самого генерала, то он искренно тосковал и не находил себе места в больших комнатах комендантского дома. Каждое лето он брал отпуск и проводил целый месяц в имении Тугановских, Егоровском, отстоявшем от К. на пятьдесят верст.

Он всю свою скрытую нежность души и потребность сердечной любви перенес на эту детвору, особенно на девочек. Сам он был когда-то женат, но так давно, что даже позабыл об этом. Еще до войны жена сбежала от него с проезжим актером, пленясь его бархатной курткой и кружевными манжетами. Генерал посылал ей пенсию вплоть до самой ее смерти, но в дом к себе не пустил, несмотря на сцены раскаяния и слезные письма. Детей у них не было.

V

Против ожидания, вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с таким серьезным лицом и таким деловым тоном, что слушатели надрывались от смеха. Сегодня он рассказывал о неудавшейся женитьбе Николая Николаевича на одной богатой и красивой даме. В основе было только то, что муж дамы не хотел давать ей развода. Но у князя правда чудесно переплелась с вымыслом. Серьезного, всегда несколько чопорного Николая он заставил ночью бежать по улице в одних чулках, с башмаками под мышкой. Где-то на углу молодого человека задержал городовой, и только после длинного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по словам рассказчика, чуть-чуть, было, не состоялась, но в самую критическую минуту отчаянная банда лжесвидетелей, участвовавших в деле, вдруг забастовала, требуя прибавки к заработной плате. Николай из скупости (он и в самом деле был скуповат), а также, будучи принципиальным противником стачек и забастовок, наотрез отказался платить лишнее, ссылаясь на определенную статью закона, подтвержденную мнением кассационного департамента. Тогда рассерженные лжесвидетели на известный вопрос: «Не знает ли кто-нибудь из присутствующих поводов, препятствующих совершению брака?» — хором ответили: «Да, знаем. Все показанное нами на суде под присягой — сплошная ложь, к которой нас принудил угрозами и насилием господин прокурор. А про мужа этой дамы мы, как осведомленные лица, можем сказать только, что это самый почтенный человек на свете, целомудренный, как Иосиф, и ангельской доброты».

Напав на нить брачных историй, князь Василий не пощадил и Густава Ивановича Фриессе, мужа Анны, рассказав, что он на другой день после свадьбы явился требовать при помощи полиции выселения новобрачной из родительского дома, как не имеющую отдельного паспорта, и водворения ее на место проживания законного мужа. Верного в этом анекдоте было только то, что в первые дни замужней жизни Анна должна была безотлучно находиться около захворавшей матери, так как Вера спешно уехала к себе на юг, а бедный Густав Иванович предавался унынию и отчаянию.

Все смеялись. Улыбалась и Анна своими прищуренными глазами. Густав Иванович хохотал громко и восторженно, и его худое, гладко обтянутое блестящей кожей лицо, с прилизанными жидкими, светлыми волосами, с ввалившимися глазными орбитами, походило на череп, обнажавший в смехе прескверные зубы. Он до сих пор обожал Анну, как и в первый день супружества, всегда старался сесть около нее, незаметно притронуться к ней и ухаживал за нею так влюбленно и самодовольно, что часто становилось за него и жалко и неловко.

Перед тем как вставать из-за стола, Вера Николаевна машинально пересчитала гостей. Оказалось — тринадцать. Она была суеверна и подумала про себя: «Вот это нехорошо! Как мне раньше не пришло в голову посчитать? И Вася виноват — ничего не сказал по телефону».

Когда у Шейных или у Фриессе собирались близкие знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так как обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих домах даже выработались на этот счет свои правила: всем играющим раздавались поровну костяные жетончики определенной цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки не переходили в одни руки, — тогда игра на этот вечер прекращалась, как бы партнеры ни настаивали на продолжении. Брать из кассы второй раз жетоны строго запрещалось. Такие суровые законы были выведены из практики, для обуздания княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте не знали никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал ста — двухсот рублей.

Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная.

— Что такое, Даша? — с неудовольствием спросила княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет, рядом со спальней. — Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?

Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой.

— Я, ей-богу, не виновата, ваше сиятельство, — залепетала она, вспыхнув румянцем от обиды. — Он пришел и сказал…

— Кто такой — он?

— Красная шапка, ваше сиятельство… посыльный…

— И что же?

— Пришел на кухню и положил вот это на стол. «Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в ихние собственные руки». Я спрашиваю: от кого? А он говорит: «Здесь все обозначено». И с теми словами убежал.

— Подите и догоните его.

— Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине

обеда, я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.

— Ну, хорошо, идите.

Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждый величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни.

«Точно кровь!» — подумала с неожиданной тревогой Вера.

Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно-каллиграфическим почерком:

«Ваше Сиятельство,
Глубокоуважаемая Княгиня
Вера Николаевна!

Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным днем Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам мое скромное верноподданническое подношение».

«Ах, это — тот!» — с неудовольствием подумала Вера. Но, однако, дочитала письмо...

«Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса и — признаюсь — ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя, по времени, его носила моя покойная матушка. Посередине, между большими камнями, Вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната — зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар

предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли, мужчин же охраняет от насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что до Вас никто еще этого браслета не надевал.

Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались Ваши руки.

Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда Вам, барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой Вы говорите. У меня нет даже зависти ни к людям, ни к вещам.

Еще раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, ненужным письмом.

Ваш до смерти и после смерти покорный слуга.

Г. С. Ж.».

«Показать Васе или не показать? И если показать — то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после — теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним».

Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.

VI

Полковника Понамарева едва удалось заставить сесть играть в покер. Он говорил, что не знает этой игры, что вообще не признает азарта даже в шутку, что любит и сравнительно хорошо играет только в винт. Однако он не устоял перед просьбами и в конце концов согласился.

Сначала его приходилось учить и поправлять, но он довольно быстро освоился с правилами покера, и вот не прошло и получаса, как все фишки очутились перед ним.

— Так нельзя! — сказала с комической обидчивостью Анна. — Хоть бы немного дали поволноваться.

Трое из гостей — Спешников, полковник и вице-губернатор, туповатый, приличный и скучный немец, — были такого рода люди, что Вера положительно не знала, как их занимать и что с ними делать. Она составила для них винт, пригласив четвертым Густава Ивановича. Анна издали, в виде благодарности, прикрыла глаза веками, и сестра сразу поняла ее. Все знали, что если не усадить Густава Ивановича за карты, то он целый вечер будет ходить около жены, как пришитый, скаля свои гнилые зубы на лице черепа и портя жене настроение духа.

Теперь вечер потек ровно, без принуждения, оживленно. Васючок пел вполголоса, под аккомпанемент Женни Рейтер, итальянские народные канцонетты и рубинштейновские восточные песни. Голосок у него был маленький, но приятного тембра, послушный и верный. Женни Рейтер, очень требовательная музыкантша, всегда охотно ему аккомпанировала. Впрочем, говорили, что Васючок за нею ухаживает.

В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром. Вера подошла и с улыбкой прислушалась.

— Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь, — весело говорила Анна, щуря на офицера свои милые, задорные татарские глаза. — Вы, конечно, считаете за труд лететь сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд. Вот теперь мы только что покончили с лотереей-аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи! Толпа, накурено, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут... И все пристают с жалобами, с какими-то обидами... И целый, целый день на ногах. А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц, а там еще белый бал...

— На котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мазурке? — вставил Бахтинский и, слегка наклонившись, щелкнул под креслом шпорами.

— Благодарю... Но, самое, самое мое больное место — это наш

приют. Понимаете, приют для порочных детей...

— О, вполне понимаю. Это, должно быть, что-нибудь очень смешное?

— Перестаньте, как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастье? Мы хотим приютить этих несчастных детей с душами, полными наследственных пороков и дурных примеров, хотим обогреть их, обласкать...

— Гм!..

— ... поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга... Вы меня понимаете? И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними — ни одного порочного! Если спросишь родителей, не порочное ли дитя, — так можете представить — они даже оскорбляются! И вот приют открыт, освящен, все готово — и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы! Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка.

— Анна Николаевна, — серьезно и вкрадчиво перебил ее гусар. — Зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете.

— Перестаньте! С вами нельзя говорить серьезно, — расхохоталась она, откидываясь на спинку кушетки и блестя глазами.

Князь Василий Львович, сидя за большим круглым столом, показывал своей сестре, Аносову и шурину домашний юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда гостей, не занятых картами.

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколебимым спокойствием он показывал, например: «Историю любовных похождений храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и других странах»; «Приключение петиметра князя Николя Булат-Тугановского в Монте-Карло» и так далее.

— Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны, — говорил он, бросая быстрый смешливый взгляд на сестру. — Часть первая — детство. «Ребенок рос, его назвали Лима».

На листке альбома красовалась умышленно по-детски нарисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с двумя глазами, с ломаными черточками, торчащими вместо ног из-под юбки, с растопыренными пальцами разведенных рук.

— Никогда меня никто не называл Лимой, — засмеялась Людмила Львовна.

— Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога —
Явленье страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги.

А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Здесь самое бегство. А это вот — критическое положение: разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму.

Ты там все пудрилась, час лишний провороня,
И вот за нами вслед ужасная погоня…
Как хочешь с ней разделывайся ты,
А я бегу в кусты.

После истории девицы Лимы следовала новая повесть: «Княгиня Вера и влюбленный телеграфист».

— Эта трогательная поэма только лишь иллюстрирована пером и цветными карандашами, — объяснял серьезно Василий Львович. — Текст еще изготовляется.

— Это что-то новое, — заметил Аносов, — я еще этого не видал.

— Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка.

Вера тихо дотронулась до его плеча.

— Лучше не нужно, — сказала она.

Но Василий Львович или не расслышал ее слов, или не придал им настоящего значения.

— Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно так: «Прекрасная Блондина, ты, которая… бурное море пламени, клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, впился в мою истерзанную душу» и так далее. В конце скромная подпись: «По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии — она слишком неприлична. Подписываюсь только начальными буквами: П. П. Ж. Прошу отвечать мне в почтамт, посте рестанте[2]. Здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный цветными карандашами.

Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). Но, как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху,

красивому молодому человеку Васе Шеину. Вот и иллюстрация. Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к рисункам.

Вася Шеин, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастью, — говорит он, — но, умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, поразмысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь жизни и летишь, как мотылек на блестящий огонь. А я, — увы! — я знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми чувствами неопытную жертву и жестоко насмеяться над ней».

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого Васю, но телеграфист не забывает ее. Вот он переодевается трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даже на паркете.

Вот он в одежде деревенской бабы поступает на нашу кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность повара Луки заставляет его обратиться в бегство.

Вот он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами.

Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов — наполненный его слезами…

— Господа, кто хочет чаю? — спросила Вера Николаевна.

VII

Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю горизонта, между сизой тучей и землей. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи, да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклянные колпаки свечей. Звездчатые цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты и прохлады.

Спешников, вице-губернатор и полковник Понамарев давно уже уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Перед ним стояла бутылка его любимого красного вина Pommard, рядом с ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо ухаживали за генералом, наполняли тяжелым, густым вином его тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так далее. Старый комендант хмурился от блаженства.

— Да-с... Осень, осень, осень, — говорил старик, глядя на огонь свечи и задумчиво покачивая головой. — Осень. Вот и мне уж пора собираться. Ах, жаль-то как! Только что настали красные денечки. Тут бы жить да жить на берегу моря, в тишине, спокойненько...

— И пожили бы у нас, дедушка, — сказала Вера.

— Нельзя, милая, нельзя. Служба... Отпуск кончился... А что говорить, хорошо бы было! Ты посмотри только, как розы-то пахнут... Отсюда слышу. А летом в жары ни один цветок не пахнул, только белая акация... да и та конфетами.

Вера вынула из вазочки две маленькие розы, розовую и карминную, и вдела их в петлицу генеральского пальто.

— Спасибо, Верочка. — Аносов нагнул голову к борту шинели, понюхал цветы и вдруг улыбнулся славной старческой улыбкой.

— Пришли мы, помню я, в Букарест и разместились по квартирам. Вот как-то иду я по улице. Вдруг повеял на меня сильный розовый запах, я остановился и увидал, что между двух солдат стоит прекрасный хрустальный флакон с розовым маслом. Они смазали уже им сапоги и также ружейные замки. «Что это у вас такое?» — спрашиваю. «Какое-то масло, ваше высокоблагородие, клали его в кашу, да не годится, так и дерет рот, а пахнет оно хорошо». Я дал им целковый, и они с удовольствием отдали мне его. Масла уже оставалось не более половины, но, судя по его дороговизне, было еще,

по крайней мере, на двадцать червонцев. Солдаты, будучи довольны, добавили: «Да вот еще, ваше высокоблагородие, какой-то турецкий горох, сколько его ни варили, а все не подается, проклятый». Это был кофе; я сказал им: «Это только годится туркам, а солдатам нейдет». К счастью, опиуму они не наелись. Я видел в некоторых местах его лепешки, затоптанные в грязи.

— Дедушка, скажите откровенно, — попросила Анна, — скажите, испытывали вы страх во время сражений? Боялись?

— Как это странно, Анночка: боялся — не боялся. Понятное дело — боялся. Ты не верь, пожалуйста, тому, кто тебе скажет, что не боялся и что свист пуль для него самая сладкая музыка. Это или псих, или хвастун. Все одинаково боятся. Только один весь от страха раскисает, а другой себя держит в руках. И видишь: страх-то остается всегда один и тот же, а уменье держать себя от практики все возрастает; отсюда и герои и храбрецы. Так-то. Но испугался я один раз чуть не до смерти.

— Расскажите, дедушка, — попросили в один голос сестры.

Они до сих пор слушали рассказы Аносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладоней. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И самые обороты фраз, которыми он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий, несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому, древнему стереотипу.

— Рассказ очень короткий, — отозвался Аносов. — Это было на Шипке, зимой, уже после того, как меня контузили в голову. Жили мы в землянке, вчетвером. Вот тут-то со мною и случилось страшное приключение. Однажды поутру, когда я встал с постели, представилось мне, что я не Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить в том. Приметив, что у меня делается помрачение ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил голову, и рассудок мой воротился.

— Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами, — сказала пианистка Женни Рейтер. — Вы, должно быть, смолоду очень красивы были.

— О, наш дедушка и теперь красавец! — воскликнула Анна.

— Красавцем не был, — спокойно улыбаясь, сказал Аносов. — Но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Букаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него вступили, то жители встретили нас на городской площади с пушечною пальбою, от чего пострадало много окошек; но те, на которых поставлена была в стаканах вода, остались невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши на отведенную мне квартиру, я увидел на окошке стоящую низенькую клеточку, на клеточке была большого размера хрустальная бутылка с

прозрачной водой, в ней плавали золотые рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. Канарейка в воде! — это меня удивило, но, осмотрев, увидел, что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. После сего сознался сам себе, что я очень недогадлив.

Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж спросил, почему у них целы стекла после канонады, и она мне объяснила, что это от воды. А также объяснила и про канарейку: до чего я был несообразителен!.. И вот среди разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился сразу — пламенно и бесповоротно.

Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино.

— Но ведь вы все-таки объяснились с ней потом? — спросила пианистка.

— Гм… конечно, объяснились… Но, только без слов. Это произошло так…

— Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? — заметила Анна, лукаво смеясь.

— Нет, нет, — роман был самый приличный. Видите ли: всюду, где мы останавливались на постой, городские жители имели свои исключения и прибавления, но в Букаресте так коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли танцевать, и такое обыкновение повелось на каждый день.

Однажды, во время танцев, вечером, при освещении месяца, я вошел в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители собирают целыми мешками. Но я обнял ее, прижал к своему сердцу и несколько раз поцеловал.

С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небе со звездами, спешил я к возлюбленной моей и все денные заботы на время забывал с нею. Когда же последовал наш поход из тех мест, мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви и простились навсегда.

— И все? — спросила разочарованно Людмила Львовна.

— А чего же вам больше? — возразил комендант.

— Нет, Яков Михайлович, вы меня извините — это не любовь, а просто бивачное приключение армейского офицера.

— Не знаю, милая моя, ей-богу, не знаю — любовь это была или иное чувство…

— Да нет… скажите… неужели, в самом деле, вы никогда не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, которая… ну, которая… словом… святой, чистой, вечной любовью… неземной… Неужели не любили?

— Право, не сумею вам ответить, — замялся старик, поднимаясь с кресла. — Должно быть, не любил. Сначала все было некогда: молодость, кутежи, карты, война… Казалось, конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом оглянулся — и вижу, что я уже развалина… Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь… Гусар, — обратился он к Бахтинскому, — ночь теплая, пойдемте-ка навстречу нашему экипажу.

— И я пойду с вами, дедушка, — сказала Вера.

— И я, — подхватила Анна.

Перед тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала ему тихо:

— Поди посмотри… там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его.

VIII

Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их, шагов на двадцать, комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не притерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. Аносов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава.

— Смешная эта Людмила Львовна, — вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. — Сколько раз я в жизни наблюдал: как только стукнет даме под пятьдесят, а в особенности если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гуммиарабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел!

— Ну, как же это так, дедушка? — мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку. — Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?

— Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит — грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая, невинная, и руки мяконькие, тепленькие. Ах ты, черт! А тут папа-мама ходят вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими, собачьими, преданными глазами. А когда уходишь — за дверями этакие быстрые поцелуйчики… За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет… Ну и готово. «Дорогой Никита Антоныч, я пришел к вам просить руки вашей дочери. Поверьте, что это святое существо…» А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет… «Милый! Я давно догадывался… Ну, дай вам бог… Смотри только береги это сокровище…» И вот через три месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесаные, в папильотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос, с растяжкой, томно: «Ж-а-а-ак». Мотовка, актриса, неряха, жадная. И глаза всегда лживые-лживые… Теперь все прошло, улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе

благодарен… Слава богу, что детей не было…

— Вы простили им, дедушка?

— Простил — это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло и отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил бог от лишнего пролития крови. И кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такое, если бы не этот мерзкий случай? Вьючный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь… Нет! Все к лучшему, Верочка.

— Нет, нет, дедушка, в вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида… А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым?

Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохотно:

— Ну, хорошо… скажем — исключение… Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главною в доме, дамой, самостоятельной… К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчины другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов, от бесцеремонных товарищей, и прочее и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут детишки, — я-то умру, а часть меня, все-таки, останется на свете… нечто вроде иллюзии бессмертия. В-четвертых, соблазн невинности, как в моем случае. Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано — «сильна, как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение — вовсе не труд, а одна радость. Постой, постой, Вера, ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю? Право же, я его люблю. Он хороший парень. Почем знать, может быть, будущее и покажет его любовь в свете большой красоты. Но ты пойми, о какой любви я говорю. Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.

— Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? — тихо спросила Вера.

— Нет, — ответил старик решительно. — Я, правда, знаю два случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой… так… какая-то кислота… одна жалость… Если хочешь, я расскажу. Это недолго.

— Прошу вас, дедушка.

— Ну, вот. В одном полку нашей дивизии (только не в нашем) была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая… Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, этакая полковая Мессалина: темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. Вдобавок — морфинистка.

И вот однажды, осенью, присылают к ним в полк новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья, только что из военного училища. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб, он вечный кавалер ее в танцах, носит ее веер и платок, в одном мундирчике выскакивает на мороз звать ее лошадей. Ужасная это штука, когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой, опытной и властолюбивой развратницы. Если он сейчас выскочил невредим — все равно в будущем считай его погибшим. Это — штамп на всю жизнь.

К рождеству он ей уже надоел. Она вернулась к одной из своих прежних, испытанных пассий. А он не мог. Ходит за ней, как привидение. Измучился весь, исхудал, почернел. Говоря высоким штилем — «смерть уже лежала на его высоком челе». Ревновал он ее ужасно. Говорят, целые ночи простаивал под ее окнами.

И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник. Я и ее и его знал лично, но при этом происшествии не был. Как и всегда в этих случаях, было много выпито. Обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. Идет очень медленно вверх, по довольно крутому подъему. Дает свистки. И вот, только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику: «Вы все говорите, что любите меня. А ведь, если я вам прикажу — вы, наверно, под поезд не броситесь». А он, ни слова не ответив, бегом — и под поезд. Он-то, говорят, верно рассчитал, как раз между передними и задними колесами: так бы его аккуратно пополам и перерезало. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать. Да не осилил. Прапорщик как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти и оттяпало.

— Ох, какой ужас! — воскликнула Вера.

— Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. Оставаться-то в городе ему было неудобно: живой укор перед глазами и ей, и всему полку. И пропал человек… самым подлым образом… Стал попрошайкой… замерз где-то на пристани в Петербурге.

А другой случай был совсем жалкий. И такая же женщина была, как и первая, только молодая и красивая. Очень и очень нехорошо себя

вела. На что уж мы легко глядели на эти домашние романы, но даже и нас коробило. А муж — ничего. Все знал, все видел и молчал. Друзья намекали ему, а он только руками отмахивался. «Оставьте, оставьте... Не мое дело, не мое дело... Пусть только Леночка будет счастлива!..» Такой олух!

Под конец сошлась она накрепко с поручиком Вишняковым, субалтерном из ихней роты. Так втроем и жили в двумужественном браке — точно это самый законный вид супружества. А тут наш полк двинули на войну. Наши дамы провожали нас, провожала и она, и, право, даже смотреть было совестно: хотя бы для приличия взглянула разок на мужа, — нет, повесилась на своем поручике, как черт на сухой вербе, и не отходит. На прощанье, когда мы уже уселись в вагоны и поезд тронулся, так она еще мужу вслед, бесстыдница, крикнула: «Помни же, береги Володю! Если что-нибудь с ним случится — уйду из дому и никогда не вернусь. И детей заберу».

Ты, может быть, думаешь, что этот капитан был какая-нибудь тряпка? размазня? стрекозиная душа? Ничуть. Он был храбрым солдатом. Под Зелеными Горами он шесть раз водил свою роту на турецкий редут, и у него от двухсот человек осталось только четырнадцать. Дважды раненный — он отказался идти на перевязочный пункт. Вот он был какой. Солдаты на него богу молились.

Но она велела... Его Леночка ему велела!

И он ухаживал за этим трусом и лодырем Вишняковым, за этим трутнем безмедовым, — как нянька, как мать. На ночлегах под дождем, в грязи, он укутывал его своей шинелью. Ходил вместо него на саперные работы, а тот отлеживался в землянке или играл в штос. По ночам проверял за него сторожевые посты. А это, заметь, Веруня, было в то время, когда башибузуки вырезывали наши пикеты так же просто, как ярославская баба на огороде срезает капустные кочни. Ей-богу, хотя и грех вспоминать, но все обрадовались, когда узнали, что Вишняков скончался в госпитале от тифа...

— Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали любящих?

— О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу: я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдается — и она уже мать. Для нее, если она любит, любовь заключает весь смысл жизни — всю вселенную! Но вовсе не она виновата в том, что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью. Говорят, что раньше все это бывало. А если и не бывало, то разве не мечтали и не

тосковали об этом лучшие умы и души человечества — поэты, романисты, музыканты, художники? Я на днях читал историю Машеньки Леско и кавалера де Грие... Веришь ли, слезами обливался... Ну скажи же, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о такой любви — единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной?

— О, конечно, конечно, дедушка...

— А раз ее нет, женщины мстят. Пройдет еще лет тридцать... я не увижу, но ты, может быть, увидишь, Верочка. Помяни мое слово, что лет через тридцать женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут одеваться, как индийские идолы. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все оттого, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть. Знаешь закон: сила действия равна силе противодействия.

Немного помолчав, он вдруг спросил:

— Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка, по его обычаю?

— Разве вам интересно, дедушка?

— Как хочешь, как хочешь, Вера. Если тебе почему-либо неприятно...

— Да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу.

И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своею любовью еще за два года до ее замужества.

Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в письмах подписывался Г. С. Ж. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником, — о телеграфе он не упоминал ни слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма его носили вульгарный и курьезно пылкий характер, хотя и были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно (кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашим: никто из них не знает) попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка: на пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке и даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя...

— Да-а, — протянул генерал, наконец. — Может быть, это просто ненормальный малый, маньяк, а — почем знать? — может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой

грезят женщины и на которую больше не способны мужчины. Постойка. Видишь, впереди движутся фонари? Наверно, мой экипаж.

В то же время сзади послышалось зычное рявканье автомобиля, и дорога, изрытая колесами, засияла белым ацетиленовым светом. Подъехал Густав Иванович.

— Анночка, я захватил твои вещи. Садись, — сказал он. — Ваше превосходительство, не позволите ли довезти вас?

— Нет уж, спасибо, мой милый, — ответил генерал. — Не люблю я этой машины. Только дрожит и воняет, а радости никакой. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать, — говорил он, целуя у Веры лоб и руки.

Все распрощались. Фриессе довез Веру Николаевну до ворот ее дачи и, быстро описав круг, исчез в темноте со своим ревущим и пыхтящим автомобилем.

IX

Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу и вошла в дом. Она еще издали услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую, сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола и, низко наклонив свою стриженую большую светловолосую голову, чертил мелком по зеленому сукну.

— Я давно настаивал! — говорил Николай раздраженно и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю какую-то невидимую тяжесть. — Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное... Вот, кстати, и сама Вера... Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем Пе Пе Же. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой.

— Переписки вовсе не было, — холодно остановил его Шеин. — Писал лишь он один...

Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень большой латании.

— Я извиняюсь за выражение, — сказал Николай Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди, невидимый тяжелый предмет.

— А я не понимаю, почему ты называешь его моим, — вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. — Он так же мой, как и твой...

— Хорошо, еще раз извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки... Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, — так это только о добром имени Веры и твоем, Василий Львович.

— Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля, — возразил Шеин.

— Может быть, может быть... Но вы легко рискуете попасть в смешное положение.

— Не вижу, каким способом, — сказал князь.

— Вообрази себе, что этот идиотский браслет... — Николай приподнял красный футляр со стола и тотчас же брезгливо бросил его на место, — что эта чудовищная поповская штучка останется у нас, или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, Пе Пе Же может хвастаться своим знакомым или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Шеина принимает его подарки, а во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с брильянтами, послезавтра жемчужное колье, а там —

глядишь — сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князья Шеины будут вызваны в качестве свидетелей… Милое положение!

— Нет, нет, браслет надо непременно отослать обратно! — воскликнул Василий Львович.

— Я тоже так думаю, — согласилась Вера, — и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса.

— О, это-то совсем пустое дело! — возразил пренебрежительно Николай Николаевич. — Нам известны инициалы этого Пе Пе Же… Как его, Вера?

— Ге Эс Же.

— Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра же я беру городской указатель и отыскиваю чиновника или служащего с такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к двум часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только завтра же возвратим ему его сокровище, а и примем меры, чтобы он уж больше никогда не напоминал нам о своем существовании.

— Что ты думаешь сделать? — спросил князь Василий.

— Что? Поеду к губернатору и попрошу…

— Нет, только не к губернатору. Ты знаешь, каковы наши отношения… Тут прямая опасность попасть в смешное положение.

— Все равно. Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается, и кричит: «Я, сударь, этого не потерплю-ю-ю!»

— Фи! Через жандармов! — поморщилась Вера.

— И, правда, Вера, — подхватил князь. — Лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни… Мы все достаточно хорошо знаем наш город. Все живут точно в стеклянных банках… Лучше уж я сам пойду к этому… юноше… хотя бог его знает, может быть, ему шестьдесят лет?.. Вручу ему браслет и прочитаю хорошую строгую нотацию.

— Тогда и я с тобой, — быстро прервал его Николай Николаевич. — Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить… А теперь, друзья мои, — он вынул карманные часы и поглядел на них, — вы извините меня, если я пойду на минутку к себе. Едва на ногах держусь, а мне надо просмотреть два дела.

— Мне почему-то стало жалко этого несчастного, — нерешительно

сказала Вера.

— Жалеть его нечего! — резко отозвался Николай, оборачиваясь в дверях. — Если бы такую выходку с браслетом и письмами позволил себе человек нашего круга, то князь Василий послал бы ему вызов. А если бы он этого не сделал, то сделал бы я. А в прежнее время я бы просто велел отвести его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии, я сообщу тебе по телефону.

X

Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед шестым этажом князь Василий Львович остановился.

— Подожди немножко, — сказал он шурину. — Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать...

Они поднялись еще на два марша. На лестничной площадке было так темно, что Николай Николаевич должен был два раза зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры.

На его звонок отворила дверь полная, седая, сероглазая женщина в очках, с немного согнутым вперед, видимо, от какой-то болезни, туловищем.

— Господин Желтков дома? — спросил Николай Николаевич.

Женщина тревожно забегала глазами от глаз одного мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность обоих, должно быть, успокоила ее.

— Дома, прошу, — сказала она, открывая дверь. — Первая дверь налево.

Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решительно. Какой-то шорох послышался внутри. Он еще раз постучал.

— Войдите, — отозвался слабый голос.

Комната была очень низка, но очень широка и длинна, почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих на пароходные иллюминаторы, еле-еле ее освещали. Да и вся она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень большой и широкий диван, покрытый истрепанным прекрасным текинским ковром, посередине — стол, накрытый цветной малороссийской скатертью.

Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиною к свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами.

— Если не ошибаюсь, господин Желтков? — спросил высокомерно Николай Николаевич.

— Желтков. Очень приятно. Позвольте представиться.

Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с протянутой рукой. Но в тот же момент, точно не замечая его приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к Шеину.

— Я тебе говорил, что мы не ошиблись.

Худые, нервные пальцы Желткова забегали по борту коричневого короткого пиджачка, застегивая и расстегивая пуговицы. Наконец он с трудом произнес, указывая на диван и неловко кланяясь:

— Прошу покорно. Садитесь.

Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком с ямочкой посредине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти.

— Благодарю вас, — сказал просто князь Шеин, разглядывавший его очень внимательно.

— Merci, — коротко ответил Николай Николаевич. И оба остались стоять. — Мы к вам всего только на несколько минут. Это — князь Василий Львович Шеин, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия — Мирза-Булат-Тугановский. Я — товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь говорить с вами, одинаково касается и князя и меня, или, вернее, супруги князя, а моей сестры.

Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. И опять его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.

— Я к вашим услугам, ваше сиятельство, — произнес он глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.

Но Шеин промолчал. Заговорил Николай Николаевич.

— Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь, — сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно положил его на стол. — Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.

— Простите… Я сам знаю, что очень виноват, — прошептал Желтков, глядя вниз, на пол, и краснея. — Может быть, позволите стаканчик чаю?

— Видите ли, господин Желтков, — продолжал Николай Николаевич, как будто не расслышав последних слов Желткова. — Я очень рад, что нашел в вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, вы преследуете княгиню Веру Николаевну уже около семи-восьми лет?

— Да, — ответил Желтков тихо и опустил ресницы благоговейно.

— И мы до сих пор не принимали против вас никаких мер, хотя — согласитесь — это не только можно было бы, а даже и нужно было сделать. Не правда ли?

— Да.

— Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те границы, где кончается наше терпение. Понимаете? — кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было — обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, и я очень рад, что не сделали, потому что —

повторяю — я сразу угадал в вас благородного человека.

— Простите. Как вы сказали? — спросил вдруг внимательно Желтков и рассмеялся. — Вы хотели обратиться к власти?.. Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигар и спички и закурил.

— Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти?.. Вы меня извините, князь, что я сижу? — обратился он к Шеину. — Ну-с, дальше?

Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, глядел с недоумением и жадным, серьезным любопытством в лицо этого странного человека.

— Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не уйдет, — с легкой наглостью продолжал Николай Николаевич. — Врываться в чужое семейство…

— Виноват, я вас перебью…

— Нет, виноват, теперь уж я вас перебью… — почти закричал прокурор.

— Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича.

И, не обращая больше внимания на Тугановского, он сказал:

— Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей… Вы меня выслушаете?

— Слушаю, — сказал Шеин. — Ах, Коля, да помолчи ты, — сказал он нетерпеливо, заметив гневный жест Тугановского. — Говорите.

Желтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не двигались, как у мертвого.

— Трудно выговорить такую… фразу… что я люблю вашу жену. Но семь лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, была еще большей глупостью. Но… вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда… Скажите, князь… предположим, что вам это неприятно… скажите, — что бы вы сделали для того, чтоб оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? Все равно и там так же я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно — смерть… Вы хотите, я приму ее в какой угодно форме.

— Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию, — сказал

Николай Николаевич, надевая шляпу. — Вопрос очень короток: вам предлагают одно из двух: либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры, которые нам позволят наше положение, знакомство и так далее.

Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил:

— Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно будет вам передать, я передам.

— Идите, — сказал Шеин.

Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, то Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.

— Так нельзя, — кричал он, делая вид, что бросает правой рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. — Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух словах.

— Подожди, — сказал князь Василий Львович, — сейчас все это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо, и я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви и разве можно управлять таким чувством, как любовь, — чувством, которое до сих пор еще не нашло себе истолкователя. — Подумав, князь сказал: — Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не могу здесь паясничать.

— Это декадентство, — сказал Николай Николаевич.

Через десять минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены не пролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом. И опять с больной, нервной чуткостью это понял князь Шеин.

— Я готов, — сказал он, — и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие — это я вам говорю, князь Василий Львович, — видите ли, я растратил казенные деньги, и мне как-никак приходится из этого города бежать. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?

— Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем, — закричал Николай Николаевич.

— Хорошо, пишите, — сказал Шеин.

— Вот и все, — произнес, надменно улыбаясь, Желтков. — Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите.

Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хотя изредка ее видеть, конечно не показываясь ей на глаза, она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог?

Вечером, приехав на дачу, Василий Львович передал жене очень точно все подробности свидания с Желтковым. Он как будто бы чувствовал себя обязанным сделать это.

Вера хотя была встревожена, но не удивилась и не пришла в замешательство. Ночью, когда муж пришел к ней в постель, она вдруг сказала ему, повернувшись к стене:

— Оставь меня, — я знаю, что этот человек убьет себя.

XI

Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда не могла разобраться в том языке, которым нынче пишут.

Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано:

«Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты Г. С. Желтков. Судя по данным следствия, смерть покойного произошла по причине растраты казенных денег. Так, по крайней мере, самоубийца упоминает в своем письме. Ввиду того что показаниями свидетелей установлена в этом акте его личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр».

Вера думала про себя:

«Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход? И что это было: любовь или сумасшествие?»

Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному Пе Пе Же.

«Почем знать, может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь», — вспомнились ей слова Аносова.

В шесть часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо:

Желтков писал так:

«Я не виноват, Вера Николаевна, что богу было угодно послать, мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей — для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете. Я проверял себя — это не болезнь, не маниакальная идея — это любовь, которою богу было угодно за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и в глазах Вашего брата, Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: «Да святится имя

Твое».

Восемь лет тому назад я увидел Вас в цирке в ложе, и тогда же в первую секунду я сказал себе: я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота земли...

Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой город? Все равно сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, каждое мгновение дня заполнено Вами, мыслью о Вас, мечтами о Вас... сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею за мой дурацкий браслет, — ну, что же? — ошибка. Воображаю, какое он впечатление произвел на Ваших гостей.

Через десять минут я уеду, я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, — о, как я ее целовал, — ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе... Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего на бетховенских квартетах, — так вот, если Вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur, № 2, op. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай бог Вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит Вашу прекрасную душу. Целую Ваши руки.

Г. С. Ж.».

Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и, показав письмо, сказала:

— Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно.

Князь Шеин внимательно прочел письмо, аккуратно сложил его и, долго помолчав, сказал:

— Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даже больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе.

— Он умер? — спросила Вера.

— Да, умер, я скажу, что он любил тебя, а вовсе не был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каждое его движение,

каждое изменение его лица. И для него не существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую при громадном страдании, от которого люди умирают, и даже почти понял, что передо мною мертвый человек. Понимаешь, Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать...

— Вот что, Васенька, — перебила его Вера Николаевна, — тебе не будет больно, если я поеду в город и погляжу на него?

— Нет, нет. Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал бы, но только Николай испортил мне все дело. Я боюсь, что буду чувствовать себя принужденным.

XII

Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, спросила:

— Кого вам угодно?

— Господина Желткова, — сказала княгиня.

Должно быть, ее костюм — шляпа, перчатки — и несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры большое впечатление. Она разговорилась.

— Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а там сейчас... Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры внаем холостякам. Но какие-нибудь шестьсот-семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. Восемь лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном.

Тут же в передней был стул, и Вера опустилась на него.

— Я друг вашего покойного квартиранта, — сказала она, подбирая каждое слово к слову. — Расскажите мне что-нибудь о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что говорил.

— Пани, к нам пришли два господина и очень долго разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место управляющего в экономии. Потом пан Ежий побежал до телефона и вернулся такой веселый. Затем эти два господина ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошел и опустил письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского пистолета выстрелили. Мы никакого внимания не обратили. В семь часов он всегда пил чай. Лукерья — прислуга — приходит и стучится, он не отвечает, потом еще раз, еще раз. И вот должны были взломать дверь, а он уже мертвый.

— Расскажите мне что-нибудь о браслете, — приказала Вера Николаевна.

— Ах, ах, ах, браслет — я и забыла. Почему вы знаете? Он, перед тем как написать письмо, пришел ко мне и сказал: «Вы католичка?» Я говорю: «Католичка». Тогда он говорит: «У вас есть милый обычай — так он и сказал: милый обычай — вешать на изображение матки боски кольца, ожерелья, подарки. Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот браслет повесить на икону?» Я ему обещала это сделать.

— Вы мне его покажете? — спросила Вера.

— Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него есть брат, так он

упросил, чтобы его похоронить по-христиански. Прошу, прошу.

Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном и горели три восковые свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Голова его покоилась очень низко, точно нарочно ему, трупу, которому все равно, подсунули маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Она вспомнила, что то же самое умиротворенное выражение она видала на масках великих страдальцев — Пушкина и Наполеона.

— Если прикажете, пани, я уйду? — спросила старая женщина, и в ее тоне послышалось что-то чрезвычайно интимное.

— Да, я потом вас позову, — сказала Вера и сейчас же вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной исключительной любви — почти пророческие слова. И, раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный лоб долгим дружеским поцелуем.

Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней льстивым польским тоном:

— Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне: «Если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение…» — он даже нарочно записал мне это. Вот поглядите…

— Покажите, — сказала Вера Николаевна и вдруг заплакала. — Извините меня, это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться.

И она прочла слова, написанные знакомым почерком: «L. van Beethoven. Son. № 2, op. 2. Largo Appassionato».

XIII

Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата.

Зато ее дожидалась пианистка Женни Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала:

— Женни, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь, — и сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку.

Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женни сыграет то самое место из Второй сонаты, о котором просил этот мертвец с смешной фамилией Желтков.

Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя: почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение, и еще против ее желания? И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: «Да святится имя Твое».

«Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою — одна молитва: «Да святится имя Твое».

Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что трудно расстаться телу с душой, но, Прекрасная, хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. «Да святится имя Твое».

Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча, так угодно было богу и судьбе. «Да святится имя Твое».

В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе: «Да святится имя Твое».

Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою — слава Тебе.

Вот она идет, все усмиряющая смерть, а я говорю — слава Тебе!..»

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя

ей, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака… И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала:

«Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? Помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко».

Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах.

— Что с тобой? — спросила пианистка.

Вера, с глазами, блестящими от слез, беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила:

— Нет, нет, — он меня простил теперь. Все хорошо.

1910

Примечания

[1] Записная книжка (франц.).

[2] до востребования (искаж. франц. poste restante).